

С.И. Кормилов

В мыслях о родной душе

<...>

За несколько месяцев до смерти, в 1841 году, на Кавказе Лермонтов написал пророческое стихотворение «Сон»:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я...

Это не условность, частая в литературе XX в., когда мертвые, не выдаваемые за привидения, говорят о себе, как живые. Лирический герой жив, он рассказывает свой сон, в котором видит себя убитым. Убитый, однако, и в «мертвом сне» (теперь условность есть, как в «Любви мертвеца») видит «вечерний пир в родимой стороне» (вероятно, в Петербурге с его светом, но для сосланного на Кавказ «родимая сторона» — уже вся Россия, а не только место, где прошло детство, как было в стихотворении о маскарадном бале), где, контрастируя со свершившимся в Дагестане, «шел разговор веселый обо мне». Пир — «вечерний», «сияющий огнями», он сам по себе контрастирует с тягостным южным «полдневным жаром», тщательно акцентированным в стихотворении. Из пяти строф две повествуют об убитом герое (первый сон), одна — о «пире» (второй сон) и две симметричные первым — о женщине, не вступающей в «разговор веселый» (эти слова точно повторены), поскольку она тоже видит «сон», уже третий, и об этой ее грезе знает не только живой автор, но и мертвый автор-персонаж, это сон во втором сне, хотя вместе с тем и в первом. Такая «матрешечная» композиция уникальна.

Заключительная строфа возвращает читателя к первой, сохранена даже рифма *Дагестана* — *рана*, но мертвый теперь не «я», передается видение героини: «Знакомый труп лежал в долине той». Этот стих формально являет собой одну из курьезных речевых ошибок Лермонтова. Труп знакомого и «знакомый труп» совсем не одно и то же. Но сочетание несочетаемого звучит здесь не комически, а глубоко трагически, читатель обычно просто не замечает нелепости этого словосочетания, так велико психологическое напряжение, воплощенное в лирическом шедевре. Да и говорится в нем вовсе не просто о двух знакомых. На нормативном языке нужно было бы сказать, что облик убитого женщине очень хорошо знаком, они были близкими, далеко не безразличными друг другу людьми. Но и в этой норме нет поэзии. Поэзия в том, что где-то есть родная душа, кто-то не просто думает о тебе, но в час твоей кончины пророчески видит ее внутренним оком, однако существование такого человека не только не приносит счастья — «я» убит, — но лишь усугубляет трагизм происшедшего. «Я» теряю вместе с жизнью ее, она теряет его, и оба в грезах видят друг друга: мертвый — живую, живая — мертвого. Граница между жизнью и смертью как бы действительно стерта (отчасти мы это наблюдаем и в стихотворении «Нет, не тебя так пылко я люблю...»), трагичными здесь оказываются и та и другая.

<...>